**Ярослава Пулинович**

**ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ**

***(инсценировка по циклу рассказов Шаламова В.Т. “Колымские рассказы”)***

**Пролог.**

**Поздняя осень. Уже выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. Отставшая от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. На лед выбежал человек, какой-то заключенный и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу; он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.**

**Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете.**

1.

Голос Андрея Платонова. Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем. Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности – не разрушенной, не отравленной жизнью на Колыме.

**Комната. В комнате собрались мужчина и женщина - Ирина. Наряжена елка.**

Мужчина. Ирочка, а Юра с Оленькой придут?

Ирина. Они обещались.

Мужчина. Тогда нужно принести еще два прибора.

Ирина. Успеем.

Мужчина. А гитара, гитара, Ирочка, у тебя есть?

Ирина. Да. Соседский сын одолжил.

Мужчина. Устроим настоящий концерт. Душа требует музыки, хочется чего-то такого светлого, понимаешь меня?

Ирина. Да. Наверное.

**Стук в дверь. Ирина открывает. На пороге комнаты – почтальон.**

Почтальон. Вам посылка.

Ирина. Откуда?

Почтальон. *(игнорируя вопрос)* Распишитесь.

**Ирина расписывается в квитанции. Забирает тоненькую посылку. Почтальон уходит.**

Мужчина. Что там? Кто это прислал? Ирочка, что случилось?

**Ирина смотрит на обратный адрес, зажимает рот рукой.**

Мужчина. Ну, кто? Ириша, ты чего? Что-то случилось?

**Ирина распаковывает посылку, в ней – ветка лиственницы. Ирина выбегает на кухню с веткой в руках, закуривает, беззвучно плачет.**

Голос Андрея Платонова. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы. Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные; лиственница – не предмет, не тема для романсов. Лиственница – дерево очень серьезное. Это – дерево познания добра и зла, – не яблоня, не березка! – дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая. Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей

**Ирина ставит сухую ветку в банку, наливает в банку воды.**

Голос Андрея Платонова. На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью. На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланик.

И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тленъя, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить не о себе. Не память о нем, но память о тех миллионах убитых, замученных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

**Ирина аккуратно прикасается к сухим иголкам лиственницы – как будто гладит кого-то – далекого, почти забытого, того, кто давно среди своих друзей и знакомых числится в списках умерших….**

2.

Голос Андрея Платонова. От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить…

**Андрей Платонов стоит у дверей продуктового магазина. Он стоит и не отводя глаз смотрит на буханки хлеба. Из магазина выглядывает продавец.**

Продавец. Чего встал?

**Андрей Платонов пожимает плечами.**

Продавец. Иди давай! Здесь только бытовикам можно! Ты что, бытовик?

Платонов. Нет.

Продавец. Вот и давай! Проваливай! Нечего тут!

**Андрей, тяжело шаркая ногами, уходит. Из магазина выходит Шетсаков с буханкой хлеба в руках.**

Шестаков. Платонов!

**Андрей Платонов оборачивается, вопросительно и тревожно смотрит на Шестакова.**

Шестаков. Подойди.

**Платонов подходит к Шестакову.**

Шестаков. Курить хочешь?

**Платонов кивает.**

Шестаков. Кури.

**Шестаков протягивает Платонову обрывок газеты, насыпает махорки, зажигает спичку.**

**Платонов закуривает.**

Шестаков. Мне надо с тобой поговорить.

Платонов. Со мной?

Шестаков. Да. Отойдем подальше?

**Платонов и Шестаков отходят за бараки.**

Шетсаков. Как ты смотришь на все это?

Платонов. Умрем, наверно.

Шестаков. Ну нет, умирать я не согласен.

Платонов. Ну?

Шестаков. У меня есть карта. Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи – это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Платонов.  А у моря? Поплывем?

Шестаков. Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Кто это сказал?

Платонов. Не помню.

**Платонов засучивает брюки и показывает Шестакову свои красные цинготные язвы.**

Шестаков. Вот в лесу и вылечишь - на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта…

Платонов. Мне надо подумать.

Шестаков. Думай.

**Платонов закрывает глаза.**

Голос Андрея Платонова. Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути – и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова – единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью…

Платонов. *(Открывая глаза)* Я согласен. Только мне надо подкормиться.

Шестаков. Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе… консервов. У нас ведь можно…

Платонов. Завтра,  молочных…

Шестаков. Хорошо, хорошо. Молочных.

**Шестаков уходит.**

**Андрей Платонов возвращается в барак, ложится на нары. Достает из-под телогрейки тоненький сборник стихов Осипа Мандельштама “Камень”, кладет его под голову. Он всегда носит его с собой, хранит, как зеницу ока.**

Голос Андрея Платонова. Думать было нелегко. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст – это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят – добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко…

**Платонов засыпает. И во сне он видит банку сгущеного молока - чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивается и течет широкой струёй Млечного Пути. Платонов легко достает руками до неба и ест густое, сладкое, звездное молоко.**

**Звучит гудок – сигнал подъема. Вместе с другими зэками Платонов просыпается от того, что с верхних нар на лицо ему льется что-то теплое - моча. Платонов выругивается, садится на нарах. Рядом с Платоновым на нарах стонет молодой студент - Полянский.**

Полянский. Я не пойду на работу…

Платонов. Отказ от работы в лагере - это преступление, которое карается смертью.

Полянский. Я знаю. Расстреливают за три отказа от работы, за три невыхода. Три акта. Сегодня не пойду. Будет первый.

Платонов. Не выйдешь один раз, значит, не выйдешь и второй, и третий. Тебя расстреляют. Надо выйти из лагерной зоны, доползти до места работы. На работу уже не будет сил. Ты будешь филоном. Но не отказчиком. Сколько ты здесь?

Полянский. Пятый месяц.

Платонов. Ты из Москвы?

Полянский. Да.

Платонов. Ну, расскажи про метро.

Полянский. Что?

Платонов. Про метро, про маму расскажи….

Полянский. Что рассказывать?

Платонов. Все, что знаешь. Все, что помнишь.

Полянский. Ну…. Оно такое огромное. Самое большое и самое красивое в мире. Станции отделаны мрамором. У магометан на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь – все было отвергнуто Магометом… Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово!» Представляете, а ведь оно где-то существует…. И Москва где-то существует. Метро и Москва, и мой дом – все это на одной с нами планете находится!

Платонов. Вот ты и пишел к этой мысли – мы на одной планете с Москвой живем. А расстреляют тебя – то будет уже другая планета. Пока ты здесь, есть надежда. А теперь вставай. Вставай! Ну же!

**Платонов помогает Полянскому подняться. Вместе они идут в забой.**

**3.**

Голос Андрея Платонова. Тачка – символ эпохи, эмблема эпохи, арестантская тачка.

Машина ОСО. Две ручки, одно колесо. ОСО – это особое совещание при министре, наркоме ОГПУ, чьей подписью без суда были отправлены миллионы людей, чтобы найти свою смерть на Дальнем Севере. В каждое личное дело, картонную папочку, тоненькую, новенькую, было вложено два документа – выписка из постановления ОСО и спецуказания – о том, что заключенного имярек должно использовать только на тяжелых физических работах. И что лагерное начальство должно о поведении заключенного имярек сообщать в Москву не реже одного раза в шесть месяцев. В местное управление такой рапорт-меморандум полагалось присылать раз в месяц. «С отбыванием срока на Колыме» – это смертный приговор, синоним умерщвления, медленного или быстрого в зависимости от вкуса местного начальника прииска, рудника, ОЛПа. На Колыме тачка называется малой механизацией. Я – тачечник высокой квалификации.

**Забой. Платонов катит тачку.**

Голос Андрея Платонова. Когда берешься за тачку – ненавистную большую или «любимую» малую, то первое дело тачечника – распрямиться. Расправить все свое тело, стоя прямо и держа руки за спиной. Пальцы обеих рук должны плотно охватывать ручки груженой тачки.

Первый толчок к движению дается всем телом, спиной, ногами, мускулами плечевого пояса – так, чтобы был упор в плечевой пояс. Когда тачка поехала, колесо двинулось, можно перенести руки немного вперед, плечевой пояс чуть ослабить.

Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути. Мускулы плеча, предплечья годятся для того, чтобы повернуть, переставить, подтолкнуть тачку вверх на эстакадном подъеме. В самом движении тачки по трапу эти мускулы – не главные.

Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом.

Пока не выработается автоматизм этого движения, этого посыла силы на тачку, на тачечное колесо – тачечника нет.

Приобретенные же навыки тело помнит всю жизнь, вечно.

**Платонов выкатывает груженную большую тачку на трап. Мускулы его трясутся от слабости и дрожат каждую минуту в истощенном, измученном теле, в язвах от цинги, от незалеченных отморожений, ноющем от побоев. Ему надо выезжать на центральный трап из угла, выезжать с доски, которая ведет из забоя на центральный трап. На центральный трап катят несколько бригад – с грохотом и шумом. Тут ждать тебя не будут. Вдоль трапа ходят начальники и подгоняют палками и руганью, похваливая возивших тачку бегом и ругая голодных и слабых. Ехать все же надо сквозь побои, сквозь ругань, сквозь рев, и он выталкивает тачку на центральный трап, поворачивает ее вправо и сам поворачивается, ловя движение тачки, чтобы успеть подправить, если колесо свернет в сторону.**

**Он втаскивает тачку на трап, и тачка катится к эстакаде, и Платонов бежит за тачкой, идет за тачкой по трапу, ступая мимо трапа, качаясь, лишь бы удержать колесо тачки на доске.**

**Несколько десятков метров – и на центральный трап входит причал другой бригады, и с этой доски, с этого места можно было катить тачку только бегом.**

**Платонова сейчас же столкнули с трапа, грубо столкнули, и он едва удержал тачку в равновесии, ведь в тачке плывун, а все, что просыпано по дороге, полагается собрать и везти дальше. Платонов даже рад, что его столкнули, и он может немного отдохнуть.**

Голос Андрея Платонова. Отдыхать в забое ни минуты нельзя. За это бьют бригадиры, десятники, конвой – я это хорошо знал, поэтому я «ворочался», просто меняя мускулы, вместо мышц плечевого пояса и плеча другие какие-то мускулы удерживали меня на земле.

**Рядом конвоир кричит на какого-то зэка.**

Конвоир. Ты какого раза встал?

Зэк. Так я это…. Были позывы. На низ. Вот я и это… Присел.

Конвоир. Где твое говно? Где твое говно, я спрашиваю!

Зэк. Нету говна.

**Конвоир замахивается на зэка прикладом**

**Бригада с большими тачками проезжает, Платонов снова выезжает на центральный трап.**

**Добирается со своей тачкой до эстакады. Эстакада невысокая, в ней всего метр, настил из толстых досок. Есть яма – бункер, в огороженный этот бункер-воронку надо ссыпать грунт.**

**Под эстакадой ходят железные вагонетки, и вагоны по канату уплывают на бутару – на промывочный прибор, где под струей воды промывается грунт и на дно колоды оседает золото. Эстакада невысока.**

**Платонов понимает, что опаздывает, и напряжением последних сил вытолкивает тачку к началу подъема. Но нет сил толкать эту тачку, неполную тачку, вверх. Платонов чувствует толчок в спину, несильный, и падает вниз с эстакады вместе с тачкой, которую он еще удерживает за ручку. Его просто столкнули – большие тачки шли к бункеру.**

**И вот Платонов принимается собирать плывун лопатой – это скользкая каменная каша, по тяжести похожая на ртуть, и такое же неуловимое, скользкое, каменное тесто. Лопатой нужно было разрубить на куски и поддеть для того, чтобы закинуть на тачку, и было невозможно, не хватало сил, и он руками отрывает куски от этого плывуна, тяжелого, скользкого, драгоценного плывуна.**

**Рядом стоят конвоиры и дожидаются, пока он соберет все до последнего камушка в тачку. Платонов подтаскивает тачку к трапу и начинает подъем и снова принимается толкать тачку наверх.**

Бригадир. Э! Ты дорогу другим бригадам не загораживай!

**Платонов снова ставит тачку на трап и пытается вытолкнуть ее на эстакаду. И снова его сбивают другие бригады.**

Конвоир. Ты – филон, сколько можно паясничать? Ты будешь, сука, работать или нет?

**Конвоир замахивается на Платонова, бьет его. Платонов падает в снег.**

Второй конвоир. Подожди-ка, я с ним сам поговорю

**Второй конвоир подходит к Платонову и ставит приклад винтовки около его головы.**

Второй конвоир. Послушайте,  не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Слушайте, старик, быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог везти такую тачку. Вы явный симулянт. Вы фашист. Вы суете родине палки в колеса.

Платонов. Я не фашист, я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают рабочих. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

**Звучит гудок, обозначающий конец работы.**

Конвоир. Живи, сука.

**По дороге к баракам Платонова нагоняет Полянский – впрочем, догнать Платонова не трудно даже годовалому ребенку.**

Полянский.Я хотел давно вас спросить одну вещь.

Платонов. Что же это за вещь?

Полянский. Когда несколько месяцев назад я смотрел на вас, как вы ходите, как не можете перешагнуть бревна на своем пути и должны обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда вы шаркаете ногами по камням и маленькая неровность, чуточный бугорок на пути кажутся вам препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиение, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на вас и думал – вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт.

Платонов. Ну? А теперь ты понял?

Полянский. Теперья понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все стали толкать, бить, а для человека нет лучше ощущения сознавать, что кто-то еще слабее, еще хуже.

Платонов. Почему ударников приглашают на совещания, почему физическая сила – нравственная мерка? Физически сильней – значит, лучше, моральнее, нравственнее меня. Еще бы – он поднимает глыбу в десять пудов, а я гнусь под полупудовым камнем.

Полянский. Я все это понял и хочу вам сказать.

Платонов. Спасибо и на том.

**4.**

**Платонов подходит к бараку, в котором живет Шестаков. Шестаков ждет Платонова на крыльце, карманы его телогрейки оттопыриваются.**

Шестаков. Наконец-то. Отойдем.

**Шестаков и Платонов отходят за бараки. Шестаков вытаскивает из кармана две банки сгущенного молока. Углом топора Платонов пробивает банку. Густая белая струя течет на его руку.**

Шестаков. Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха.

Платонов. *(Облизывая сладкие пальцы)* Ничего.

Шестаков. Вот, ложку возьми.

**Шестаков протягивает Платонову ложку. Платонов садится на землю и быстро ест сгущенку. Наконец, обе банки пусты.**

Платонов. *(Облизывая ложку)*  Знаешь что? Я передумал. Идите без меня.

**Шестаков все понимает и уходит, не сказав ни слова.**

Голос Андрея Платонова. Это было, конечно, ничтожной местью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других – я не знал их. А предупредить было надо – Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил – начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе. Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов…

**Платонов идет к баракам и вдруг падает, схватившись за сердце.**

**5.**

**В своей комнате Ирина, не отрывая взгляды, смотрит на сухую ветку. Ветка стоит в банке с водой, но она по-прежнему суха и безжизненна. Ирина подливает воду в банку и смотрит, смотрит, смотрит….**

6.

**Платонов стоит в кабинете перед нарядчиком.**

Нарядчик. Почему ты не хочешь работать?

Платонов. Я болен. Мне надо в больницу.

Нарядчик. В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?

Платонов.  Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.Мне нужен врач. В лагере есть врач Андрей Вершинин.

Нарядчик. Да, есть такой врач из заключенных. Тебе незачем его видеть.

Платонов. Я его знаю лично.

Нарядчик.  Мало ли кто знает его лично.

**В кабинет заходит другой нарядчик Соловьев.**

Нарядчик. Вот филон. Не хочет работать.

Соловьев. Ты кто?

Платонов. Я журналист, писатель.

Соловьев. Консервные банки ты здесь будешь подписывать. Я спрашиваю – ты кто?

Платонов. Я из бригады Фирсова, заключенный Андрей Платонов, срок пятнадцать лет.

Соловьев. Почему не работаешь, почему вредишь государству?

Платонов. Я болен, гражданин начальник.

Соловьев. Чем ты болен, такой здоровый лоб?

Платонов. У меня сердце.

Соловьев.  Сердце. У тебя сердце. У меня самого сердце больное. Врачи запретили Дальний Север. Однако я здесь.

Платонов.  Вы – это другое дело, гражданин начальник.

Соловьев.  Смотри-ка сколько слов в минуту. Ты должен молчать и работать. Подумай, пока не поздно. Расчет с вами будет. *(Нарядчику)* Запиши его в этап на золото*.*Без статьи и срока. Только фамилия – там разберут. Ну!

Нарядчик. Фамилия?

Платонов. Я болен.

Соловьев. Да чем он болен?!!

Платонов. Полиартрит.

Соловьев.  Ну, я таких слов не знаю. Здоровый лоб. На прииск. Пять минут на сборы! Быстро!

**В кабинет заглядывает надзиратель.**

Надзиратель. Платонов у вас? Его за конбазу вызывают к следователю по особо важным делам.

Соловьев. Иди, сволочь. Только быстро.

**Платонов разворачивается и выходит. Он доходит до домика следователя. В доме горит свет. Платонов стучит в дверь. Дверь открывает следователь**. **Он невысок, худощав, небрит. В домике только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол - самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Часы-ходики на окне. Следователь знаком показывает Платонову следовать за ним. Вместе они проходят в комнату. Следователь растапливает бумагой железную печку.**

Следователь. Садитесь, Платонов.

**Следователь подвигает Платонову старую табуретку. Сам он сидит на стуле - самодельном стуле с высокой спинкой.**

Следователь. Я просмотрел ваше дело, и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам. Я должен знать о вас еще кое-что.

**Платонов вопросительно молчит.**

Следователь.Напишите заявление.

Платонов. Заявление?

Следователь. Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.

Платонов. Заявление? О чем? Кому?

Следователь. Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или "Птичку" пушкинскую:

Вчера я растворил темницу

Воздушной пленницы моей.

Я рощам возвратил певицу,

Я возвратил свободу ей.

Платонов. Это не пушкинская "Птичка".

Следователь. А чья же?

Платонов. Туманского.

Следователь. Туманского? Первый раз слышу.

Платонов. А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных.

Следователь. Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют.

**Следователь улыбается, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны.**

Платонов. Цинга?

Следователь. Да. Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет. Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк. Пишите! "Начальнику прииска. Заключенного Платонова, год рождения, статья, срок, заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу..." Достаточно.

**Платонов пишет. Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могут ухватить ручку, но в конце концов это удается.**

**Следователь берет недописанное заявление Платонова, рвет его и бросает в огонь...**

Следователь. Садитесь к столу. С краюшка. У вас почерк не писателя или поэта. Это почерк кладовщика.

Платонов. Да, я знаю. Я мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Следователь. У меня беспорядок, хаос. Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

Платонов. Конечно, конечно. Закурить бы...

Следователь. Я некурящий. И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику. Начнем…. На ком я остановился…. Нашел. Хорошо, я буду диктовать, а вы записывайте….

**Следователь диктует Платонову имена и фамилии, перебирая стопки дел.**

**Следователь.** Печатников Михаил Зиновьевич, Печенкин Иван Андреевич, Печеный Михаил Аркадьевич, Печерников Павел Александрович, Печерский Максим Иванович, Пешев Карп Прокопьевич….

Голос Андрея Платонова. Бесснежная зима тридцать седьмого - восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам "в этап". Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах - этап так этап - работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Следователь. Пиатрович Геннадий Яковлевич, Пивень Иван Маркович, Пивень Иосиф Андреевич, Пивкин Иван Ильич, Пигарев Федор Павлович, Пиденко Павел Иванович, Пилипенко Андрей Андреевич, Планов Иван Николаевич, Платоненко Илья Яковлевич, Платоненко Вадим Сергеевич, Платонов Андрей Иванович….

Следователь. Как ваше имя, отчество?

Платонов. *(Отрываясь от работы)* Что, простите?

Следователь. Как ваше имя, отчество?

Платонов. Андрей Иванович.

**Следователь долго смотрит на Платонова, затем рвет дело на куски и толкает его в печку.**

Следователь. Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются. Продолжаем писать. Вы готовы?

Платонов. Готов.

Следователь. Плащин Федор Феофанович, Плетнев Дмитрий Петрович, Плетнев Михаил Исаакович, Плетник Иван Иванович….

**Платонов на минуту замирает с ручкой в руках.**

Следователь. Что-то случилось?

Платонов. Ничего. Сердце. Сейчас пройдет.

Следователь. Вы плохо выглядите.

Платонов. Я болен.

Следователь. Вас нужно перевести на ЛФТ.

Платонов. Спасибо. Я знаю. Это было бы неплохо.

Следователь. Можем продолжать?

Платонов. Да.

Следователь. Плешаков Сергей Константинович, Плешко Георгий Николаевич….

**7.**

Голос Андрея Платонова. ЛФТ – легкий физический труд. Я знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, я собирался извлечь из них все, что можно. Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Платонов, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит – все равно на золото я больше не поеду». Возможностей было мало. Но здесь я буду умнее, буде больше доверять телу. И тело меня не обманет. Меня обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности – все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мой мозг, были фальшивы, ложны. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

**Нарядчик заводит Платонова в барак и показывает ему на верхние нары.**

Нарядчик.  Вот твое место!

**Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Платонов, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и «въезда» была закончена.**

Сосед по нарам. Что же ты так обовшивел, а?

Платонов. Разве я виноват?

Голос Андрея Платонова. Никто меня ни о чем не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке не много было людей из тайги, а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно. Все, что я видел, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя – ничего тут не предусмотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди. Я был представителем мертвецов. И мои знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Голос нарядчиков. Подъем! Банный день! Баня! Дезинфекция!

**8.**

**Банный день. Все собираются неохотно. Кроме Платонова – ему очень хочется расправиться со своими вшами. В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной.**

**Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Платонов постарался вымыться как следует. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голенях Платонова. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды.**

**Платонов разгибает руки. Разгибаются только пальцы левой руки. Это удивиляет Платонова. Он тихонько трогает правую руку, пробует отогнуть пальцы, и ему кажется, что вот-вот они разогнутся. Он обкусывает ногти самым аккуратным образом и теперь грызет грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку.**

Голос банщика. Вещи из дезкамеры забираем!

**Арестанты забирают свои вещи. Сосед Платонова Огнев получает свои меховые чулки, они выглядят игрушечными, так села кожа. Огнев берет чулки в руки и плачет.**

Огнев. *(по-бабьи причитая)* Суки! Суки! Это же кожа! Она же села! И как я их буду носить? Как теперь жить? Как? Суки! Что же творится-то? Что они с людьми-то делают? А жить-то как теперь? Как жить? Это же кожа была, она же садится, они не понимают что ли, что она садится, зачем вот их было сразу в дезинфекцию, неужели свосем никакого понимания нет, что это кожа, это же не просто так, я как теперь жить буду, как жить теперь буду….

**Арестанты недоброжелательно отходят от Огнева и начинают одеваться.**

Голос Андрея Платонова. Именно здесь я понял, что не имею страха и жизнью не дорожу. Понял и то, что я испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено мне применить для своей пользы. Я понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности – реальность, они могут спасти жизнь при случае. И я был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость я должен противопоставить зверю. Меня обманывали. И я обману. Я не умру, я не собираюсь умирать.

9.

**Утро. Всех заключенных выгнали во двор. Заключенные стоят за проволочной изгородью, мерзнут. На фронтоне ворот красуется обычная надпись: "Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".** **Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивает фамилии. Вызванные выходят в калитку – безвозвратно. На шоссе гудят грузовики, гудят так громко в морозном утреннем воздухе, что мешают нарядчику. Платонов переступает с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто согреть.**

Нарядчик.  Воронов! Воронов!  Воронов! Здесь ведь, сука!..

**И нарядчик злобно швыряет тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавливает «дело» ногой. И тогда Платонов все понимает сразу. Это его грозовой молнийный свет, указывающий дорогу к спасению.**

Нарядчик. Пименов! Иванов! Корнеев! Муратов! Мурашов! Михельсон! Прутников! Кузнецов!

**На каждую фамилию выходят люди. Конвоиры строят их “по десяткам” и куда-то уводят за изгородь, а там уже рассаживают по грузовикам и развозят по приискам.**

Нарядчик. Платонов!

**Платонов молчит, разглядывает бритые щеки нарядчика.**

Сосед Платонова. Последняя машина. Чем меньше группа – тем лучше. Малые группы, если и отправляют, то на ближние, на местные командировки.

Нарядчик. Платонов, бля!

**Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.**

Нарядчик. Сычев! Обзывайся – имя и отчество!

Сосед Платонова. Владимир Иванович.

**Сосед Платонова делает шаг вперед.**

Сычев. Статья? Срок? Выходи!

Нарядчик. Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

**Сосед Платонова смотрит на Андрея. Тот отрицательно качает головой.**

Нарядчик. Верховский! Крутиков! Смирнов! Кривошеев!

**Еще несколько человек откликаются на вызов, их уводят. Людей становится все меньше. Нарядчик смотрит на Платонова.**

Нарядчик. Выйти из строя.

**Платонов делает шаг вперед.**

Нарядчик. Как твоя фамилия?

Платонов. Гуров.

Нарядчик.  Подожди!

**Нарядчик листает папиросную бумагу списков.**

Нарядчик. Нет, нету.

Платонов. Можно вернуться в строй?

Нарядчик. Иди, скотина.

Филиповский.Но ведь не расстреливать же нас будут.

Платонов. Именно это – не расстреливать же.

**К нарядчику подходит человек в бекеше.**

Нарядчик.  Вот все, кто остался. Подойдут?

**Человек в бекеше поманил пальцем старика.**

Человек в бекеше. Ты кто?

Старик. Изгибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет.

Человек в бекеше. Нет, нет. По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас…

Старик. Печник, гражданин начальник.

Человек в бекеше. А еще?

Старик. По жестяному могу.

Человек в бекеше. Очень хорошо. Ты?

**Начальник переводит взор на заключенного Филиповского.**

Филиповский. Кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

Человек в бекеше. *(Благообразному мужичку Фризогеру)* А ты?

Фризогер. Haben Sie schon einmal in Leipzig gewesen? Auch ich war es nicht.

Человек в бекеше. Что это?

Нарядчик. Вы не беспокойтесь. Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

Человек в бекеше. А по-немецки-то зачем?

Нарядчик. Он из-под Саратова, из автономной республики…

Человек в бекеше. *(Платонову)* А-а-а… А ты?

Платонов. Дубильщик, гражданин начальник.

Человек в бекеше. Очень хорошо. А лет сколько?

Платонов. Тридцать один.

Человек в бекеше. Как звать?

Платонов. Платонов, гражданин начальник.

Нарядчик. Давненько я тебя, сука, ищу.

**Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.**

Человек в бекеше. *(Пятому)* Ты?

Пятый. Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

Человек в бекеше. Шпионаж, что ли?

Пятый. Вот-вот, вроде этого.

Нарядчик. Ну как?

Человек в бекеше. Беру. Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат. *(Нарядчику)* Грузите их и поехали.

Нарядчик. Выходи! Шагай к воротам!

**Все выходят и идут к воротам пересылки. За воротами стоит большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.**

Нарядчик. Конвой, принимай!

Конвоир. Изгибин!

* Здесь.

Конвоир. Филиповский.

* Здесь.

Конвоир. Фризогер!

* Их бин.

Конвоир. Платонов.

Платонов. Здесь.

Конвоир. Дефель.

- Здесь.

Конвоир. Садись в машину!

**Конвоир откидывает край большого брезента, закрывавшего машину.**

Конвоир. Полезай!

**Все пятеро садятся вместе. Все молчат.**

Пятый.Куда мы едем?

Нарядчик. На местную командировку, куда же еще. *(Кивая на человека в бекеше)* А это ваш начальник будет. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.

**Платонов радостно улыбается. Он выиграл. Он обхитрил систему. Человек в бекеше и конвоир садятся в машину, тарахтит мотор, и машина двигается по шоссе, выезжая на главную трассу.**

Фризогер. Unser Vater in dem Himmel! Dein Name werde geheiligt.

Dein Reich komme. Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.

Unser taeglich Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.

Und fuehre uns nicht in Versuchung, sondern erloese uns von dem Uebel.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Филиповский. Это он молитвы читает, мать его…

Платонов.  Ну, кто тут что знает? Какие варианты?

Старик. А какие варианты? Порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой…

**Все пятеро сдвигают головы около щели в брезенте.**

Старик. На четвертый километр везут.

Пятый. Семнадцатый…

Филиповский. Двадцать третий…

Старик. На местную, сволочи! На местную?!!!

Пятый. Сорок седьмой.

Старик. Куда мы едем?!!! Суки, они же обещали местную!

Платонов. Только не в забой….

Фризогер. Unser Vater in dem Himmel! Dein Name werde geheiligt.

Dein Reich komme. Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.

Unser taeglich Brot gib uns heute.

Филиповский. За что? За что? Они же обещали….

**Машина останавливается. Конвоир отстегивает брезент.**

Конвоир. Выходи, стройся.

Платонов. Куда мы едем?

Конвоир. На сегодня приехали. На двести восьмом будем ночевать.

Платонов. А дальше?

Конвоир. Не знаю…

Платонов. Сука! *(Филиповскому)* Дай закурить.

10.

Голос Андрея Платонова. Но - не роботами же мы были? Не шахтерами Рурского угольного бассейна. Наш РУР - это рота усиленного режима, тюрьма в тюрьме, лагерь в лагере... Нет, не роботами мы были. В металлическом бесчувствии роботов было что-то человеческое. Нас привели в РУР как лодырей, как филонов, как не выполнивших норму. Каждый день после работы руровцев "гоняли" за дровами "для себя", как говорило начальство. Это было радостно - день кончался.

**Андрей Платонов и другие заключенные затаскивают в горы сани. Проволочные лямки саней устроены для людей - проволочные петли, куда можно просунуть голову и плечи, поправить лямку и тащить, тащить. Люди тащат сани в гору, где лежат штабеля заготовленного летом стланика - черного горбатого легкого стланика. Сани нагружаются и пускаются прямо с горы. На сани садятся блатари - те, которые сохранили еще силы,- и, хохоча, съезжают с горы. А такие, как Андрей Платонов – доходяги сползают, не имея сил сбегать.**

**Андрей Платонов идет в общем строе. Дежурный надзиратель несильно толкает Платонова в плечо.**

Надзиратель. Быстрее!

**Платонов падает.**

Надзиратель. Ты че, совсем на ногах не стоишь?

Платонов. Ослаб, гражданин начальник.

**Платонов поднимается и встает в общий строй.**

**Наконец, зэки доходят до места, сгружают дрова и радостно начинают строиться. Рядом с Платоновым стоит Филиповский.**

Филиповский. *(Радостно)* Все, баста! Домой!

Надзиратель. Э! Стоять! Рабочий день не окончен. Кру...гом!

**Никто не поворачивается.**

Надзиратель. Кру...гом! Впрягайтесь в сани.

**Никто не поворачивается.**

Надзиратель. Да это организованное выступление! Диверсия! Не пойдете по-хорошему?

Пятый. Не надо нам вашего хорошего.

Надзиратель. Кто это сказал? Выйди!

**Никто не выходит.**

**По команде из барака охраны выбегают еще несколько конвоиров и окружают заключенных, увязая в снегу, щелкая затворами винтовок, задыхаясь от злобы на людей, лишивших конвоиров отдыха, смены, расписания службы.**

Конвоиры. Ложись!

**Все ложатся в снег.**

Конвоиры. Вставай!

**Все встают.**

Конвоиры. Ложись!

**Ложатся.**

Конвоиры. Вставай!

**Встают.**

Конвоиры. Ложись!

**Ложатся.**

**Несколько выстрелов-щелчков, предупредительных выстрелов.**

Конвоиры. Вставай!

**Зэки встают.**

Конвоиры. Кто пойдет - отходи налево.

**Никто не двигается. Надзиратель подходит близко, вплотную к тоске в этих безумных глазах. Подходит и стучит в грудь ближайшего.**

Надзиратель. Ты - пойдешь?

Старик. Пойду.

Надзиратель. Отходи налево. Ты - пойдешь?

Пятый. Пойду!

Надзиратель. Конвой, принимай, считай людей.

**Конвой пересчитывает людей. Вдруг студент Полянский который тоже отправлен в РУР, поднимает глаза к небу.**

Полянский. Смотрите, северное сияние!

**Он смотрит на небо и делает шаг, другой, третий, четвертый….**

Филиповский. Стой!

**Сухо щелкает выстрел, и Полянский падает на снег лицом вниз.**

Конвоир. Оставьте на месте, не подходите!

**Конвоир стреляет еще раз.**

Конвоир. А это – предупредительный. Чего стоим? Поехали!

**Скрипят деревянные полозья саней. Платонов остается стоять на месте.**

Надзиратель. Ты че стоишь?

Платонов. Я не пойду.

Надзиратель. Хочешь вслед за ним?

Платонов. Да. Я – старый больной человек. Пристрелите меня да и дело с концом.

Надзиратель. За что сидишь?

Платонов. У меня статья...

Надзиратель. На кой черт мне твоя статья. В РУРе за что сидишь?

Платонов. Не знаю. В книге приказов должно быть написано, гражданин начальник.

Надзиратель. На черта мне твоя книга. Значит, тебе жить надоело?

Платонов. Надоело.

Надзиратель. На колени, черт!

**Платонов покорно становится на колени. В последний раз смотрит на небо. На небе полыхает северное сияние – редкий гость на Колыме. Планета Земля с огромной скоростью несется в безвоздушном пространстве вместе с другими планетами. Взрываются старые и образовываются новые звезды, спутники сходят со своих орбит, инопланетные корабли осваивают новые галактики. Где-то стоит Москва, в чреве ее пульсируют поезда московского метрополитена – вершина творения рук человеческих, падает снег в черные воды Москвы-реки…. А где-то на Колыме на тридцатиградусном морозе Платонов стоит на коленях перед надзирателем и готовится умереть. И нет ему никакого дела до Москвы, планеты Земля и новых галактик, как нет никакого дела Москве или планете Земля до Платонова.**

**Вот-вот должен раздаться выстрел. Но вместо выстрела раздается взрыв. Что-то не так пошло в каком-то забое… С горы сыпятся камни и снег.** **Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии. Платонов поднимает глаза и видит могилу, арестантскую общую могилу, каменная яму, доверху набитую нетленными мертвецами. Мертвецы позут по склону горы, открывая колымскую тайну.**

Надзиратель. Твою же ж мать!

Голос Андрея Платонова. Камень, Север сопротивлялись всеми силами человеку, не пуская мертвецов в свои недра. Суровые зимы, горячие лета, ветры, дожди – за шесть лет отняли мертвецов у камня. Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела. Эти человеческие тела ползли по склону, может быть собираясь воскреснуть. И я поблагодарил бога, что он дал мне время и силу видеть все это.

**Андрей Платонов встает с колен.**

Платонов. Я передумал умирать.

Надзиратель. Тогда в строй, сука! В строй! Догоняй, падла! Быстрее!

**Платонов бежит за строем, то и дело проваливаясь в снег.**

11.

Голос Андрея Платонова. Все умерли...

**Вечер. Все сидят у печки.**

Пятый. Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... Только, чур, правду.

Платонов. Домой?

Пятый. Да.

Платонов. Я скажу правду. Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне - то немногое, что у меня осталось, ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизнь. То, что я видел, человеку не надо видеть и даже не надо знать. Тюрьма это другое дело. Тюрьма - что свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди не боясь говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

Пятый. Ну, замолол. Это потому, что тебя на следствии не били. A кто прошел через метод номер три, те другого мнения... *(Филиповскому)* Ну а ты, Петр Иваныч, что скажешь?

Филиповский. Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба буханку! Сварил бы каши из магара - ведро! Суп-галушки - тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

Пятый. *(Старику)* А ты?

Старик. Домой. Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили - потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо...

Платонову. *(Пятому)* А ты сам?

Пятый. Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу бездна...

Филиповский. Да ты не шути...

Пятый. Я и не шучу. На самом деле я хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.

Голос Андрея Платонова. Все умерли. Умер Филиповский. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать. А он работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. Места наши в бараке были рядом, и однажды я проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном.

**Появляется конвоир.**

Конвоир. Филиповский? Одевайся.

**Филиповский торопливо одевается, а пахнущий бараном человек обыскивает его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек откладывает их в сторону.**

Филиповский. Это – мои. Моя собственность. Я платил деньги.

Конвоир. Ну и что ж?

Филиповский. Оставьте их.

**Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила.**

Конвоир. Тебе они больше не понадобятся.

**Конвоир уводит Филиповского. Вдалеке слышится выстрел.**

Голос Андрея Платонова. Умер Изгибин Юрий Иванович. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах. Юрий Иванович и был деревенским эсером - в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году.

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали - на них были штампы чисел. Изгибин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску юшку - суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски... Ложки у Изгибина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

**Старик уходит.**

Голос Андрея Платонова. Умер Дефель. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно - он не хотел верить, как может он, член партии, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои уже входили в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал.

**Пятый поднимается в смущении.**

Пятый. Я заснул. *(Улыбаясь и краснея)* Я хочу есть. Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

**Пятый улыбается, смеется, пританцовывает.**

Голос Андрея Платонова. Дефель сошел с ума, и его куда-то увели.

**Конвоиры уводят Пятого.**

Голос Андрея Платонова. Умер Фризогер, саратовский немец, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало.

Фризогер. Unser Vater in dem Himmel! Dein Name werde geheiligt.

Dein Reich komme. Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.

Unser taeglich Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.

Und fuehre uns nicht in Versuchung, sondern erloese uns von dem Uebel.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

**Фризогер уходит.**

Голос Андрея Платонова. Все умерли. Скоро умру и я.

12.

**Ирина танцует с веткой лиственницы в руках.**

Ирина. Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость – воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта – он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль – что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела… И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо – предсмертная маска человека – известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение – вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно – Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь – искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно… Старость – это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади – тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия – тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу – плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе – как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал… и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они – последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь – вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека – тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он – это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать – все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, – это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал…

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос – на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах – концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии – ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.

Умер как актер – это еще понятно. Но умер как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее – лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, – на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом – отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний – украли. У кого-то еще были силы воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо – одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…

Его останавливали соседи.

– Не ешь все, лучше потом съешь, потом…

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

* Когда потом? – отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

**Ветка лиственницы в руках Ирины прорастает зелеными ростками.**

**13.**

**Лагерный госпиталь. Платонов лежит на кровати. Рядом негромко разговаривают его соседи – Федя и Савельев.**

Савельев. Вот. Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет не много. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

Федя. А честный труд?

Савельев. К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы. У меня отморожены руки и ноги. Когда меня сюда увезли, начальники составили акт – одет по сезону…

Федя. А что это значит – «одет по сезону»?

Савельев. Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

Федя. У нас не оставляли. Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

Савельев. Вот-вот

**Платонов открывает глаза в палате лагерного госпиталя.**

Платонов. (*Шепчет)* Сентенция… *(Громче)* Сентенция! Сентенция!

**Платонов хохочет.**

Платонов. *(Кричит)* Сентенция! Сентенция!

Савельев.  Вот псих!

Федя. Псих и есть! Ты – иностранец, что ли?

Платонов. Дай закурить.

Федя. Нет, у меня нету.

Савельев. Иностранец?

Платонов. Я вспомнил одно слово, непригодное для тайги. Сентенция!

Федя. Псих и есть.

**В палату заходит фельдшер – молодой чистый человек в неправдоподобно белом халате.**

Фельдшер. *(Платонову)* Раздевайтесь.

**Кожа Платонова шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические оттиски в личном деле.**

Федя. Это пеллагра называется. У меня тоже такое было. Перчатки с обеих рук снимали. В Магадан послали, в музей.

Савельев. В музей? Мало что ли таких перчаток в Магадане?

Федя. *(Платонову)* Слушай сюда! С этой болезнью тебе горячие уколы назначат, обязательно. Мне назначали, я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился.

Фельдшер. Помолчите!

**Фельдшер что-то пишет в карте.**

Платонов. Какой у меня диагноз?

Врач. Полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии. И так далее. *(Пауза)* У вас алиментарная дистрофия. Но нам запрещено говорить и писать о голоде в официальных документах.

Платонов. Гражданин фельдшер, я прошу, умоляю вас – осмотрите меня еще раз.

Фельдшер. В чем причина такой просьбы?

Платонов. А вот в чем, гражданин фельдшер. Дело в том, гражданин фельдшер, что я болен, а освобождения мне не дают.

Фельдшер. Как же так?

Платонов. Я болен. У меня больное сердце.

**Фельдшер что-то пишет в своей книге, затем щупает пульс у Платонова.**

Фельдшер. Частит.

Платонов. А у вас есть аппарат Рива-Роччи?

Фельдшер. Да.

Платонов. И вы умеете им пользоваться?

Фельдшер. Конечно.

Платонов. И мне можете смерить давление?

Фельдшер. Пожалуйста, хоть сейчас.

**Фельдшер приносит аппарат Рива-Роччи. Платонов торопливо садится к столу и обертывает манжетку вокруг своих «манжет», то есть рук, точнее, плеча.**

**Фельдшер вставляет в уши фонендоскоп. Пульс стучит громкими ударами, ртуть в Рива-Роччи бешено бросается вверх.**

**Фельдшер записывает показания Рива-Роччи.**

Фельдшер. Двести шестьдесят на сто десять. Другую руку!

**Результат тот же.**

Фельдшер. Вас нужно освободить от работы.

Платонов. Значит, я могу не работать завтра?

Фельдшер. Конечно. Будете пока получать освобождение, а потом вас сактируют, и вы уедете если не на Большую землю, то в Магадан. Вы ведь все равно, кажется, скоро должны освободиться?

**Платонов закрывает лицо руками и плачет.**

Платонов. Я ведь могу делать что-нибудь легкое. Если вы попросите.

Фельдшер. Я не попрошу. Хотя…. Выйдемте…. И успокойтесь.

**Платонов с трудом встает. Выходит из палаты вслед за фельдшером.**

Фельдшер. Вы умеете печатать на машинке?

Платонов. Да. Я был писателем на материке. В Москве. Печатался в журналах.

Фельдшер. Тут есть одна девушка. Суть дела была в том, что начальник лагерного отделения преследует ее. Она бытовичка, конечно. Лагерного мужа этой бытовички давно сгноили на штрафном прииске по приказу начальника. Но жить с начальником девушка не стала. И вот теперь проездом – этап везут мимо – делает попытку лечь в больницу, чтобы ускользнуть от преследования. Мы…. То есть я хочу попытаться устроить ее в контору, в учетную часть…. Но она не умеет обращаться с пишущей машинкой.

Платонов. Давайте эту девушку.

Фельдшер. Она здесь. Лида!  
**Из фельдшерского кабинета выходит молодая белокурая девушка. Смотрит поочередно то на фельдшера, то на Платонова.**

**14.**

**Платонов и Лида сидят в кабинете. Платонов учит Лиду печатать на пишущей машинке.**

Платонов. Большим пальцем ты печатаешь только пробелы…. Не торопись. Медленно. *(Диктует)*

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять.

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,

Ничего от нее не приемлю,

Но люблю мою бедную землю,

Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду

На простой деревянной качели,

И высокие темные ели

Вспоминаю в туманном бреду.

Лида. Чьи это стихи?

Платонов. Осипа Мандельштама.

Лида. Вы еще помните на память стихи?

Платонов. У каждого человека здесь есть свое *самое последнее* , самое важное – то, что помогает жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимают. Мое спасительное последнее – это стихи – чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнятся, где все остальное давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Лида. Этот поэт, которого вы прочли – он хороший.

Платонов. У меня есть сборник его стихов. Здесь, на Колыме, у меня все отобрали и ничего не дали взамен. Но этот тонкий сборник я сохранил.

Лида. Где вы его прячете?

Платонов. Когда как. Например, здесь, в больнице - под подушкой. Потому что впервые у меня появилась подушка. Это целая наука здесь – сохранить то, что ценно.

Лида. Я тоже сохранила. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своими буду гулять. Вот с тобой…

Платонов. Я занят, Лида.

Лида. Жена? Ждет?

Платонов. Не знаю. Трудно тебе будет, Лида. Из-за твоей красоты.

Лида. Будь она проклята, эта красота.

Платонов. Что тебе обещает начальство?

Лида. Оставить при конторе.

Платонов. Здесь не оставляют женщин, Лида.

Лида. А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.

Платонов. Кто такой?

Лида. Тайна.

Платонов. Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер – все равно. Это не приисковая больница.

Лида. Все равно. Я счастливая. Найдется работа. А потом поступлю на курсы медсестер. Теперь я вольная птица. На этапе со мной был один лейтенант и потом у меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.

Платонов. Дети умерли? Это твое счастье, Лида.

Лида. Да. Подлечусь здесь.

Платонов. Продолжаем….

15.

Голос Андрея Платонова. Прошло много дней, прежде чем я снова начал вспоминать стихи. Мир, из которого я пришел в больницу, обходился без стихов. В моей жизни были дни, и немало, когда я не мог вспомнить и не хотел вспоминать никаких стихов. Я радовался этому, как освобождению от лишней обузы – ненужной в моей борьбе, в нижних этажах жизни, в подвалах жизни, в выгребных ямах жизни. Стихи там только мешали мне. Мой лагерный срок таял. Я гнал от себя мысли о возможной свободе, о том, что называется в моем мире свободой.

**Палата больницы.**

Савельев. Желаю вам уехать отсюда, освободиться по-настоящему. Дело идет к этому, уверяю вас. Дорого бы я дал, чтобы встретиться с вами где-нибудь в Минске или в Москве.

Платонов. Все это пустяки, Михаил Иванович.

Савельев. Нет, нет, не пустяки. Я – пророк. Я предчувствую, я предчувствую ваше освобождение!

Платонов.Это очень трудно – освобождаться. Придется преучиваться жизни, входить в мир других масштабов, других нравственных мерок, воскрешать те понятия, которые жили в моей душе до ареста. Не иллюзиями были эти понятия, а законами другого, раннего мира.

**Платонов поднимает подушку и видит, что сборник стихов Мандельштама исчез.**

Платонов. Вы не видели мою книгу? Сборник стихов? Такая тоненькая брошюрка?

**Савельев и Федя пожимают плечами. Платонов со злостью бьет кулаком по стене.**

**16.**

**Коридор больницы. Из кабинета фельдшера выходит Лида и идет навстречу Платонову.**

Платонов. Ну что, Лида, – ты теперь работаешь в учетной части?

Лида. Да.

Платонов. Документы на освобождение ты печатаешь?

Лида. Да. Начальник печатает и сам. Но он печатает плохо, портит бланки. Все эти документы всегда печатаю я.

Платонов. Скоро ты будешь печатать мои документы.

Лида. Поздравляю…

Платонов. Будешь печатать старые судимости, там ведь есть такая графа?..

Лида. Да, есть.

Платонов.  В слове «КРТД» пропусти букву «Т».

Лида. Я поняла.

Платонов. Если начальник заметит, когда будет подписывать, – улыбнешься, скажешь, что ошиблась. Испортила бланк…

Лида. Я знаю, что сказать…

**Лида уходит из жизни Платонова навсегда. Но перед тем как исчезнуть, она оборачивается.**

Лида. Простите, это я вашу книгу взяла. Уж больно стихи хорошие. Вам теперь они на материке зачем?

**17.**

Фельдшер. Вам тут ксива из управления, зайдите.

Голос Андрея Платонова. Ксива из управления – телеграмма, радиограмма, телефонограмма на мое имя – первая телеграмма за много лет. Оглушительная, тревожная, как в деревне, где любая телеграмма трагична, связана со смертью. Вызов на освобождение – нет, с освобождением не торопятся, да я и освобожден. Я пошел к радисту, радист протянул мне стопку бумажек, я порылся в телеграммах, но ничего не понял, своей не нашел, и радист снисходительно кончиками пальцев достал мою телеграмму…

**Платонов читает телеграмму.**

Голос Андрея Платонова. «Приезжайте письмом», то есть приезжайте за письмом, – почтовая связь экономила смысл, но адресат, то есть я, конечно, понял, о чем речь. Я пошел к начальнику района и показал телеграмму.

Начальник. Сколько километров?

Платонов. Пятьсот.

Начальник. Ну, что же…

Платонов. В пять суток обернусь.

Начальник. Добре. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное тебе – добраться до центральной трассы.

Платонов. Хорошо, спасибо.

Голос Андрея Платонова. Собачья упряжка, быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарты, полет и поворот – речка какая-то, лед, кусты, бьющие по лицу больно. Но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета, и почтовый поселок, где…Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок, и люди из вольных пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на них. Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это его земля.

Я бегу рядом с нартами, но больше сажусь, присаживаюсь, цепляюсь за нарты, падаю, снова бегу. К вечеру - огни большой трассы, гул ревущих, пробегающих сквозь мглу машин.

**Трасса. Идет снег.**

Голос Андрея Платонова. Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке – дорожному вокзалу. Печка там не топится – нет дров. Но все-таки крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машину к центру, к Магадану. Очередь невелика – один человек. Гудит машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь мне надо выбегать на мороз. Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль, в такой мороз.

Водитель. Куда?

Платонов. На Левый берег.

Водитель. Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

Платонов. Я оплачу тебе до Магадана.

Водитель. Это другое дело. Садись. Таксу знаешь?

Платонов. Да. Рубль километр.

Водитель. Деньги вперед.

**Платонов достает деньги и платит.**

Голос Андрея Платонова. Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход.

Водитель. Нельзя дальше ехать – туман. Будем спать, а? На Еврашке.

Голос Андрея Платонова. Что такое еврашка? Еврашка – это суслик, Сусликовая станция. Мы свернулись в кабине при работающем моторе. Пролежали, пока рассвело, и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

Водитель. Теперь чифирку подварить – и едем.

**Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил в снегу, выпил. Еще вскипятил, вторячок, снова выпил и спрятал кружку.**

Водитель. Едем! Ну, надо прибавить газку.

М**ашина полетела, гудя, ревя на поворотах, – водитель был приведен в норму чифирем**.

Голос Андрея Платонова. Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Уже рассвело. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло, и машина остановилась, причаливая к обочине.

Водитель.  Все – к черту!  Уголь – к черту! Кабина – к черту! Борт – к черту! Пять тонн угля – к черту!

Платонов. Что случилось?

Водитель. Нашу машину сбила чехословацкая «татра», встречная! Сука! На ее железном борту и царапины не осталось.

Водитель “Тарты”. Подсчитай быстро,  что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

Водитель. Хорошо. Это будет…

Водитель “Тарты”. Ладно.

Платонов. А я?

Водитель. Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок, довезут. Сделай мне одолжение. Сорок километров – это час езды.

Голос Андрея Платонова. Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой водителю. Я еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить – мост. Левый берег. Я слез. Долго не мог найти в темноте нужный дом. И вот, наконец! Это он! Я постучал в квартиру, вошел, и мне подали в руки письмо, написанное почерком мне хорошо известным, стремительным, летящим и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.Через три месяца я был в Москве.

18.

**Москва, украшенная новогодними фонариками. Платонов стучится в двери своей квартиры. Ему открывает Ирина. В ее руках зеленая ветка лиственницы. Ирина видит перед собой старика.**

Ирина. Дедушка, а вы к кому?

**И вдруг она все понимает. Она бросается на шею Платонову, вцепляется в него, стоит и не может его отпустить. Платонов неловко гладит Ирину по плечам.**

Платонов. Я вернулся. Вернулся. Вернулся…. Я буду дома теперь. Всегда. Всегда. Рядом с тобой.

Ирина. Она проросла…. Проросла. Ты видишь?

Платонов. Я знаю. Не плачь. Не плачь. Я буду рядом…. Теперь всегда рядом.

**В это время к дому подъезжает черный “воронок”. На лестнице слышатся шаги. На башне Кремля бьют куранты. Наступает новый тысяча девятьсот тридцать девятый год.**

**Конец.**